

Ирина Одоевцева

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

На берегах
Невы



ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

На берегах
Невы

Москва
«Художественная
литература»
1988

Декабрь 1920 года. В Доме литераторов, как всегда, светло, тепло и по-домлитски уютно. Уютно совсем новым уютom, о котором до революции никто и понятия не имел.

Длинный хвост тянется к стойке, где две милые дамы наливают в тарелки, миски и жестяные банки — навывнос — похлебку с моржатиной, стараясь сдобрить ее любезным: «Сегодня, кажется, очень удалась».

Все, как всегда. И посетители все те же. И вдруг, именно вдруг, неожиданно в хвосте появляется странная фигура, совершенно не похожая ни на писателей, ни на спутников кавалерственных дам. Вообще ни на кого не похожая. Ни на кого и ни на что. Малиновые высоченные валенки, меховая шапка повязана сверху по-бабьи серым шерстяным платком, под меховой шапкой большие очки, за ними глаза, зоркие, как у охотников в северных лесах. Пальто перетянуто ремнем, из кармана выглядывают

пестрые варежки. В одной руке ярко начищенная медная кастрюля, в другой — зеленый мешок и палка.

— Ремизов, Алексей Михайлович, — шепчет мне Гумилев и поспешно встает. — Пойдемте. Я вас представлю ему.

«Представлю», а не познакомлю с ним — от почтения. Я и сама не знаю, куда деваться от почтения и смущения. Но все же иду за Гумилевым.

Ремизову уже успели налить полную кастрюлю похлебки. Он, горбясь, пристраивает ее в свой мешок, что-то по-старчески ворча. Гумилев склоняется перед ним в преувеличенно церемонном поклоне:

— Алексей Михайлович, позвольте вам выразить... Ваше посещение — честь для Дома литераторов и для нас всех...

Ремизов выпрямляется, быстро кладет свой мешок на чей-то стол перед каким-то едоком и, освободив руку, делает ею что-то вроде козы, собирающейся забодать Гумилева:

— А вот он где, кум-Гум, куманек-Гумилек! — задорно взвизгивает он, сразу из старичка превращаясь в школьника. — А мне моржатинки захотелось. Никогда не едал. Грех не попробовать. Как услышал, что тут моржатины дают, решил Серафиму Павловну угостить и сам полакомиться — если съедобная.

Ремизов поворачивается ко мне:

— А вы такая, как я думал.

Я смущенно краснею. Что значит «такая»? И разве он мог обо мне «думать»?

— Ну, домой, чтобы не простыла.

Он подхватывает свой мешок с кастрюлей. Мы провожаем его в прихожую, Гумилев открывает входную дверь.

— Заходите, Николай Степанович, чайку морковного попить, Серафима Павловна вам рада будет, — с чисто московским гостеприимством приглашает Ремизов. — И вы приходите, — это мне. — И вам Серафима Павловна рада будет.

Меховая шапка, повязанная платком, кивает еще раз на прощание, и вот уже Ремизов, ловко балансируя на скользких обледенелых ступеньках, спустился с крыльца, не пролив ни капли похлебки.

— Донесет. И не пролет, — Гумилев смотрит ему вслед и добавляет: — Такой уж он удивительный. Во всем.

Да, удивительный. Я не могу не согласиться. Я удивлена, поражена. Мне кажется, что в наш трехмерный мир вдруг на минуту ворвалось четвертое измерение. Но что в Ремизове такого четырехмерного, я ни тогда, ни сейчас сказать не могу. Особенность Ремизова, его «несхожесть» с другими, его «не-человечность» — не могу найти нужное слово, — я ее чувствовала всегда.

Гордость его была невероятна. Все писатели более или менее гордые, даже часто не в меру гордые. Но гордость Ремизова заключала в себе что-то высшее, люциферическое. Как и его

«униженность». Ремизов был живым подтверждением исконно русского «унижение паче гордости».

Легенды о том или ином человеке обыкновенно возникают после его смерти. Но Ремизову удалось самому создать легенду о себе. Другие, конечно, помогли ему в этом, разнося слухи и сплетни. И он этому очень радовался.

Как-то вечером ко мне пришел Гумилев, весь белый от снега, и долго в кухне стряхивал снег со своей самоедской дохи.

— Я к вам не по своей воле пришел, — сказал он наконец, с каким-то таинственным видом оглядываясь и кося еще сильнее, чем всегда. — Меня Кикимора привела. Шел от Ремизова домой. Ведь близко. Но тут меня закружило, занесло глаза снегом, завертело, понесло. Сам не знаю, по каким улицам. Отпустило. Смотрю — ваш подъезд. И свет в окнах. Отдохну у вас немного. А то, боюсь, собьет меня с дороги Кикимора.

Мы устроились на медвежьей полости перед камином и стали печь картошку в золе. Гумилев посыпал солью, единственной тогда приправой к картошке, поленья в печке, чтобы они «трещали, как в сказках Андерсена».

В кабинете было полутемно, тени скользили и тянулись по стенам и потолку, и косоглазое лицо Гумилева, освещенное красным пляшущим отсветом, чем-то напоминало мне никогда мной не виданную Кикимору, и мне казалось, что голос его звучит тоже по-кикиморски.

— Через всю комнату протянута веревка, как для сушки белья. «Они» — то есть Кикимора и прочая нечисть — все пристроены на ней. А за письменным столом сидит Алексей Михайлович, подвязав длинный хвост. Без хвоста он и писать не садится. Не верите? А я сам видел!

Голос его падает до шепота.

— Я как-то зашел к ним. Открыла мне Серафима Павловна. Сейчас же, как всегда, стала «чайком поить». Она такая пышная, белая, как сдобная булка. С ней и пустой чай пить вкусно. «А Алексей Ремизов пишет. Пойдите, позовите его. Он вас любит».

Я пошел. Открываю тихо дверь, чтобы не помешать, и вижу — собственными глазами вижу: Ремизов сидит за столом, спиной ко мне, размахивая хвостом справа налево, слева направо. На табурете сидит, хвост высоко равномерно взлетает в воздух, будто мух отгоняет. А на веревке Кикимора и вся нечисть пляшут, кувыркаются. Я понял — вдохновение снизошло. Мешать, Боже упаси! Закрыл дверь и на носках вернулся к Серафиме Павловне. Так в тот раз и не дождался Алексея Михайловича.

Косящий взгляд останавливается на мне:

— Неужели не верите? А ведь все это истинная правда. Такая же и даже большая, чем холод, голод и аресты. Стыдно не верить.

Гумилев достает из кармана пиджака ярко разрисованный картонный квадратик.

— Знак Обезьяньего достоинства,— объясняет он.— Ремизов просил передать вам вместе с грамотой Обезьяньего царя Асыки. Здесь все сказано. По молодости лет он вас произвел только в оруженосцы. В моего оруженосца.

В грамоте — изумительном произведении графического искусства — действительно «все было сказано» витиеватым обезьяньим стилем. Этот орден стал предметом моей гордости и зависти «Серапионовых братьев» и прочих молодых писателей. Все мы безгранично уважали Ремизова. Помню, меня шутя «с монаршей милостью» поздравили и Замятин, и Георгий Иванов, и Лозинский. Вспоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, как в литературных кругах, близких к Гумилеву и Цеху, чтити Ремизова.

Одоевцева И. В.

О-44 На берегах Невы: Литературные мемуары./Вступ. статья К. Кедрова; Послесл. А. Сабова.— М.: Худож. лит., 1988.—334 с.

ISBN 5-280-00873-7

В потоке литературных свидетельств, помогающих понять и осмыслить феноменальный расцвет русской культуры в начале XX века, воспоминания поэтессы Ирины Одоевцевой, несомненно, занимают свое особое, оригинальное место. Она с истинным поэтическим даром рассказывает о том, какую роль в жизни революционного Петрограда занимал «Цех поэтов», дает живые образы своих старших наставников в поэзии Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Белого, Георгия Иванова и многих других, с кем тесно была переплетена ее судьба.